**По вине Бальзака**

Андре Моруа

Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство — жизни.

*Оскар Уайльд*

Весь вечер курили, судили о людях и произведениях — не слишком доброжелательно, скорее поверхностно, когда к полуночи беседа разгорелась — так огонь, уже почти потухший, внезапно будит спящего, озарив ярким светом комнату. Вспомнили о нашей приятельнице, производившей впечатление легкомысленной особы, которая всех поразила, уйдя в монастырь кармелиток, и разговор зашел о непостоянстве характеров, о том, что даже умному, наблюдательному человеку трудно предвидеть самые простые поступки своих близких.

— Я вот о чем думаю, — сказал я, — как вообще можно что-либо предвидеть, если в каждом из нас заложены противоречивые возможности. Случайное происшествие пробудило одни чувства прежде других, и вот вы уже обмерены, классифицированы и до конца дней не избавитесь от героического или позорного облика, который придало вам общество. Но ярлык редко соответствует сущности. И праведников порой посещают нечестивые мысли, но они их гонят: избранный ими образ жизни таких помыслов не допускает. Но представьте, что волею обстоятельств эти люди перенесены в другую обстановку, — их реакция на те же образы будет совершенно иной. Верно и обратное: прекрасные намерения мелькают, подобно отблескам света, в душах последних негодяев. Значит, любое суждение о личности абсолютно произвольно. Принято говорить: «А. — распутник, Б. — мудрец», — так удобнее. Но для мало-мальски добросовестного психолога характер — величина переменная.

Тут запротестовал Кристиан. «Да, — сказал он, — то, что вы называете «личностью», в действительности всего лишь хаос ощущений, воспоминаний, стремлений, который не в силах упорядочить себя. Но вы забываете, что он может быть упорядочен извне. Идея соберет разрозненные элементы, как магнит распределяет металлические опилки по силовым линиям. Большая любовь, вера в Бога — могущественнейший предрассудок — придают сознанию скрытую основу, недостававшую ему, и позволяют достичь то состояние равновесия, которое, в сущности, и есть счастье. Точка опоры души всегда должна быть вне ее, поскольку... Да вы перечтите «О подражании Христу»: «Когда Ты предаешь меня самому себе, то что я? Одно бессилие и тлен, но, возлюбя и взыскуя Тебя, я обрел Тебя и в Тебе себя самого».

В этот момент Рено захлопнул книгу, которую листал, поднялся, как и всегда, когда собирался говорить, и подошел к печи, обогревавшей мастерскую нашего хозяина.

— Вера? — произнес он, раскуривая трубку. — Да, конечно, вера, страсть могут преобразить душу... Но тех, кому, как и мне, не выпало счастья верить, тех, кто уже не может любить, удерживает в равновесии иная сила — вымысел. Да, именно вымысел. Ведь главное, не правда ли, чтобы человек, создав свой образ, стремился всегда быть верным ему. Так вот, литература, театр, как ни странно, помогают мне вылепить эту маску, необходимую для спасения души — в мирском смысле, разумеется. Когда я чувствую себя потерянным, когда впустую ищу себя в этом хаосе противоречивых страстей, о котором сейчас говорил Кристиан, когда я кажусь себе посредственностью, когда я сам себе не нравлюсь (что бывает довольно часто), я вновь перечитываю любимые книги и стремлюсь вспомнить свои давнишние чувства. Позируя самому себе, я вновь вижу тот идеальный автопортрет, который когда-то нарисовал. Я узнаю избранную мной маску. Я спасен. Князь Андрей Толстого, Фабрицио Стендаля, Гете «Поэзии и правды» — вот кто «упорядочивает мой хаос». И я не думаю, чтобы мой случай был таким уж редким... Разве Руссо в свое время не научил по-новому чувствовать несколько миллионов французов? Д'Аннунцио — современных итальянцев? Уайльд — англичан начала века? А Шатобриан? Рескин? Баррес?

— Погоди, — прервал его кто-то, — может, они не пробуждали новые чувства, а просто описывали те, что уже существовали?

— Просто описывали? Ни в коей мере, дружище. Великий писатель рисует характеры, которых жаждет век, а не те, что он порождает. Учтивый галантный рыцарь эпических песен, придуманный в суровое, грубое время, преобразил читателей по своему подобию. Голливудский герой-бессребреник создан нацией дельцов. Искусство предлагает образцы, люди воплощают их и тем самым делают их ненужными в качестве художественных произведений. Когда Францию заполонили Манфреды и Рене, она пресытилась романтизмом. Пруст создаст нам поколение психологов, которые возненавидят психологические романы, а будут любить только безыскусные рассказы.

— Прекрасный сюжет для Гофмана или Пиранделло, — произнес Рамон. — Герои романа оживают и проклинают своего создателя.

— Все именно так и происходит, дорогой Рамон, вплоть до мельчайших подробностей Поступкам ваших персонажей суждено однажды воплотиться в действительности. Помните фразу Жида: «Сколько людей, не подозревавших, что они Вертеры, ждали только выстрела гетевского героя, чтобы покончить с собой»? Я знавал человека, всю жизнь которого перевернул поступок одного персонажа Бальзака.

— А вы слышали, — спросил Рамон, — что в Венеции компания французов решила целый сезон называть себя именами героев Бальзака, подражать им? Тогда в кафе «Флориан» можно было встретить Растиньяка, Горио, Натана, герцогиню де Мофриньез, и некоторые актрисы считали делом чести выдержать роль до конца...

— Наверняка это было очаровательно, — продолжал Рено, — но то ведь игра, а у человека, о котором я говорю, вся жизнь — настоящая, не выдуманная — пошла наперекосяк из-за литературного воспоминания. Он был моим приятелем по Нормальной школе [Парижская Высшая нормальная школа — Педагогический институт]. Звали его Лекадье... Из всего нашего выпуска, далеко не заурядного, он был, бесспорно, самым одаренным.

— В чем же проявлялась его одаренность?

— Да во всем. Сильный, независимый характер, проницательный ум, невероятная эрудиция... Он все читал, от сочинений отцов церкви до «Нибелунгов», от византийских историков до Карла Маркса, и всегда за завесой слов умел постичь глубинный общечеловеческий смысл. Его доклады по истории приводили всех нас в восхищение. В них чувствовался талант историка и в то же время несомненный литературный дар. Он страстно любил читать романы. Стендаль и Бальзак были его кумирами. Он мог цитировать их наизусть чуть не целыми страницами, и казалось, что все свои знания о жизни он почерпнул у них.

Он и внешне чем-то походил на них. Крепкого сложения, некрасивый — но именно той почти величественной некрасивостью, проникнутой умом и добротой, которая зачастую свойственна великим писателям. Я говорю «зачастую», поскольку и другие, не столь заметные беды: слабохарактерность, тайный порок, несчастье — могут вызвать эту страсть к перевоплощению, необходимое условие для творчества. Толстой в молодости был уродлив, Бальзак грузен, в Достоевском было что-то звериное, а юный Лекадье всегда напоминал мне Анри Бейля, покинувшего Гренобль.

Мы понимали, что он беден: несколько раз он водил меня в гости к своему шурину, механику из Бельвиля, в чьем доме обедали на кухне, — он упрямо знакомил с ним чуть не весь институт. Поступок вполне в духе Жюльена Сореля, и действительно, этот образ постоянно его преследовал. Если он пересказывал сцену, когда Жюльен вечером в саду взял за руку-госпожу де Реналь, не чувствуя к ней любви, то казалось, что он говорит о себе. Жизнь заставляла его довольствоваться подавальщицами из закусочной Дюваля или натурщицами из Ротонды, но мы знали, что он с нетерпением ждет случая, чтобы отправиться покорять женщин гордых, пылких и целомудренных.

— Да, конечно, — говорил он мне, — великое творение может распахнуть перед тобой двери салонов... Но этот путь столь долог! И потом, хороший роман не напишешь, не зная подлинных женщин. И ничего тут не поделаешь, Рено: женщину, воистину совершенную женщину можно встретить только в свете. Эти утонченные, хрупкие создания рождаются в атмосфере праздности и богатства, роскоши и скуки. Все прочие? Пусть соблазнительные, пусть даже красивые, что они могут мне подарить? Плотскую любовь? «Два трущихся живота», как говаривал Марк Аврелий? «Я свел любовь к потребности и эту потребность — к минимуму», как писал Ипполит Тэн? Пресную, скучную верность до гроба? Для меня это ничто... Я мечтаю о громкой победе, о романтических ситуациях. Или я не прав? Но нет, нельзя ошибиться в своих сокровенных желаниях. Я романтичен, мой друг, безумно романтичен. Для счастья мне необходимо быть любимым и, раз я дурен собой, могущественным, чтобы внушать любовь. На этих основаниях я построил свой жизненный план, и ты можешь говорить что угодно, но для меня он единственно разумный.

В ту пору слабое здоровье придало мне рассудительности и «жизненный план» Лекадье показался совершенно абсурдным.

— Мне тебя искренне жаль, — ответил я. — Я тебя просто не понимаю: ты обрекаешь себя на волнения, муки (а ты уже не в себе), на возможную неудачу в поединке с недостойными соперниками. Что мнимые успехи других, если добился подлинных — духовных? Чего ты в конце концов хочешь, Лекадье? Счастья? Неужто ты и впрямь думаешь, что власть или женщины способны его даровать? Мир, который тебе видится реальным, кажется мне призрачным. Как можешь ты стремиться к благам преходящим, несовершенным по природе своей, когда тебе выпал жребий быть одним из тех, кто, посвятив свою жизнь идее, достигает почти неколебимого счастья?

Он пожал плечами: «Да ладно, знаю я эту песню. Не ты один читал стоиков. Сколько нужно повторять, что я иначе устроен, чем они и чем ты. Конечно, на какое-то время я мог бы найти счастье в книгах, произведениях искусства, работе. Потом, в тридцать, в сорок лет, я начну жалеть о загубленной жизни. Но будет уже поздно. Иначе я представляю себе ступени духовного развития. Сперва надо избавиться от мании честолюбия единственным радикальным путем — удовлетворив его, а потом — но только потом — с чистым сердцем окончить свои дни как мудрец, зная цену тому, что отринул... Вот так вот, а возлюбленная из высшего общества сможет избавить меня от десяти лет неудач и низких интриг.

Я вспоминаю один его поступок, тогда удививший меня, но сейчас многое проясняющий. Увидев в пивной служанку ирландку, уродливую и грязную, он не успокоился, пока не переспал с нею. Все это показалось мне особенно нелепо из-за того, что девка почти не говорила по-французски, а единственным пробелом нашего «всезнайки» Лекадье было полное невежество в английском.

— Ну что за ерунда, в конце концов, — твердил я ему. — Ведь ты даже толком не понимаешь ее.

— Какой ты плохой психолог! — отвечал он. — Именно в этом-то все удовольствие.

И в общем, механизм тут довольно простой. Раз уж обычные любовницы были начисто лишены утонченности и целомудрия, столь необходимых ему для счастья, он пытался обрести эту иллюзию в тайне неведомого языка.

У него было множество записных книжек, испещренных чисто личными пометками, замыслами, планами произведений. Однажды вечером он забыл одну из них на столе, мы стали листать ее и обнаружили афоризмы, немало нас позабавившие. Я запомнил один из них — очень в духе Лекадье: «Неудача — доказательство слабости желания, но не его безрассудства».

Одна страница была озаглавлена:

ОРИЕНТИРЫ

Мюссе в двадцать лет был великим поэтом — Ничего не поделаешь.

Гош, Наполеон в двадцать четыре года командовали армиями. — Ничего не поделаешь.

Гамбетта в двадцать пять лет стал знаменитым адвокатом.  — Может быть.

Стендаль опубликовал «Красное и черное» только в сорок восемь лет. — Вот что вселяет надежду.

Эти записки честолюбца тогда нас просто рассмешили, хотя мысль о том, что Лекадье — гений, была не так уж абсурдна. Если бы нас спросили: «У кого из вас есть шансы оторваться от основной группы, примчаться к славе?», мы ответили бы: «У Лекадье», но ему еще должно было повезти. В жизнь любого великого человека врывается незначительное событие, открывающее путь к успеху. Кем бы был Бонапарт без вандемьерского мятежа у церкви святого Роха? Байрон без оскорблений шотландских критиков? Разумеется, посредственностями. Вдобавок Байрон был хромым, что для художника — источник силы, а Бонапарт робел перед женщинами, боялся их. Наш Лекадье некрасив, беден, талантлив, но будет ли у него свой Вандемьер?

В начале третьего курса директор Нормальной школы вызвал к себе в кабинет нескольких студентов. Нашим директором был Перро — автор «Истории искусств», прекрасный человек, походивший одновременно на только что вылезшего из воды кабана и на Циклопа — он был крив на один глаз и грозен. Когда с ним советовались о будущем, он отвечал: «Ах, будущее... Покинув эти стены, постарайтесь подыскать хорошее место — оклад побольше, работы поменьше».

В тот день, собрав нас, он произнес краткую речь: «Вам известно имя г-на Треливана, министра? Да?» Прекрасно. Он прислал ко мне секретаря. Г-н Треливан ищет учителя для своих сыновей и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь из вас три раза в неделю давать им уроки истории, литературы и латыни? Я, разумеется, во всем пойду ему навстречу. На мой взгляд, это прекрасный случай приобрести высокопоставленного покровителя и, быть может, обеспечить себе после Школы приличную синекуру, которая прокормит вас до конца дней. Предложение заслуживает внимания: подумайте, посовещайтесь, а вечером назовете мне имя избранника».

Мы все знали Треливана, друга Жюля Ферри и Шаллемель-Лакура, самого образованного и остроумного государственного деятеля того времени. В юности он потрясал Латинский квартал язвительными сатирами и гневными филиппиками, которые произносил, забравшись на стол. Старина Хаз, преподававший греческий в Сорбонне, считал его своим лучшим учеником. Достигнув вершин власти, он сохранил восхищавшие нас причуды. С парламентской трибуны он цитировал стихи. Когда во время дебатов на него обрушивались с откровенно грубыми нападками (шли бои в Тонкине, и оппозиция свирепствовала), он открывал томик Феокрита или Платона и вовсе переставал слушать. Сама мысль взять для сыновей не обычного учителя, а молодого наставника была очень для него характерна и нам понравилась.

Я бы с удовольствием ходил к нему домой несколько раз в неделю, но Лекадье как «первый ученик» пользовался преимуществом, и ответ его нетрудно было угадать. Это была та самая возможность, о которой он так долго мечтал: перед ним открывались двери дома могущественного человека, чьим секретарем он мог со временем стать и который, несомненно, поможет ему проникнуть в тот таинственный мир, где наш приятель рассчитывал воцариться. Он попросил место и получил его. На следующий день он приступил к своим новым обязанностям.

У нас с Лекадье вошло в привычку подолгу беседовать каждый вечер на лестничной площадке перед дортуаром. В первую же неделю я узнал тысячи подробностей о доме Треливанов. Лекадье видел министра только однажды, в первый день, и вдобавок ему пришлось ждать до девяти вечера: заседание Палаты сильно затянулось.

— Ну как, — спросил я его, — что сказал великий человек?

— По правде говоря, — ответил Лекадье, — я был вначале разочарован. Хочется, чтобы великий человек отличался от простых смертных, а когда видишь глаза, нос, рот, слышишь самые обычные слова, мираж рассеивается. Но Треливан любезен, сердечен, умен. Он говорил со мной о Школе, интересовался нашими литературными пристрастиями, представил меня жене, которая, как он сказал, в основном-то и следит за воспитанием детей. Она была со мной любезна. Кажется, она его боится; он говорит с ней подчеркнуто иронично.

— Добрый знак, Лекадье. Она красива?

— Очень.

— Но не очень молода, ведь ее детям...

— Лет тридцать... может, немного больше.

На следующее воскресенье мы были приглашены на обед к нашему бывшему преподавателю, ставшему депутатом. Он дружил с Гамбеттой, Бутейе, Треливаном, и Лекадье воспользовался случаем навести справки.

— Не знаете ли вы, из какой семьи госпожа Треливан?

— Госпожа Треливан? Кажется, она дочь промышленника из департамента Эр-и-Луар. Старая буржуазия, насколько я помню.

— Она умна, — произнес Лекадье с той непередаваемой интонацией, в которой слышатся и вопрос, и утверждение, а вернее всего — надежда, что собеседник согласится.

— Да нет, — удивился папаша Лефор. — Чего ради ей быть умной? Кажется, наоборот, ее считают глупой. Мой коллега Жюль Леметр, свой человек в их доме...

Лекадье, перегнувшись через стол, прервал его:

— Добродетельна ли она?

— Кто? Госпожа Треливан? Ну, мой друг... По слухам, у нее были любовники, но я толком ничего не знаю. Это похоже на правду, Треливан совсем ее забросил. Говорят, он живет с мадемуазель Марсе, которую пристроил в Комеди Франсез в бытность свою министром искусств... Я знаю, что он принимает у мадемуазель Марсе, проводит там почти все вечера. Вот так...

Депутат от Кана развел руками, покачал головой и заговорил о предстоящих выборах.

После этой беседы Лекадье стал держаться с госпожой Треливан свободно, даже развязно. Скрытая вольность сквозила в банальных фразах, которыми он обменивался с ней, когда она заходила во время урока. Он все смелее смотрел на нее. Она носила довольно открытые платья, и под легким тюлем обрисовывалась ее грудь. Ее руки и плечи наливались упругой полнотой, еще ничем не предвещавшей неизбежную одутловатость зрелых лет. Лицо было гладкое, без морщин или, скорее, Лекадье по молодости своей не мог распознать их незаметные следы. Когда она садилась, приоткрывались изящные ножки, в тонкой сетке шелковых чулок казавшиеся почти бесплотными. Она представлялась Лекадье прекрасной богиней, искусно скрывшей свою телесную оболочку, и все же доступной, ибо молва говорила о ее слабости.

Я уже упоминал о блестящем, самобытном красноречии Лекадье. Зачастую, если г-жа Треливан входила, когда он с увлечением воскрешал перед изумленными детьми императорский Рим, двор Клеопатры, строителей храмов, он с чуть дерзким кокетством позволял себе не прерывать рассказ. Она рукой делала ему знак продолжать и, пройдя на цыпочках, тихонько садилась в кресло. «Да, да, — убеждал себя Лекадье, который, не переставая говорить, наблюдал за ней, — ты думаешь, что этот студентик поинтересней многих прославленных ораторов». Возможно, он ошибался, и она, рассеянно глядя на кончики туфель или на игру бриллиантов, думала о своем сапожнике или о новом украшении.

И все же она возвращалась. Лекадье вел ее появлениям строгий счет, скрупулезность которого она и представить себе не могла. Если она приходила три дня подряд, то он уже думал: «Она клюнула». И, припоминая все фразы, в которые он, как ему казалось, вложил второй смысл, он пытался в точности восстановить реакции г-жи Треливан. Здесь она улыбнулась, это словцо, хотя и остроумно, пропало даром, а немного вольный намек вызвал ее удивленный высокомерный взгляд. Если она не появлялась целую неделю, он решал: «Все кончено, я ей надоел». Тогда он пускал в ход тысячи уловок, чтобы выведать у детей, не удивив их, почему нет мамы. И всегда причина была самой простой — или уехала, или нездорова, или руководит работой женского комитета.

— Знаешь, — говорил мне Лекадье, — когда понимаешь, что бушующие в тебе чувства бессильны вызвать ответную бурю в душе другого, то хочется... А самое мучительное — неведение. Абсолютная непроницаемость чужого сознания — вот истинная причина страстей. Если б знать, хорошо или плохо думает о тебе женщина, не пришлось бы страдать. Либо ты будешь счастлив, либо отступишься. Но это спокойствие, за которым, быть может, скрывается любопытство, а может быть, не скрывается ничего...

Однажды она спросила у него названия нескольких книг, и они разговорились. Пятнадцатиминутная беседа после уроков вошла в привычку, и довольно скоро Лекадье сменил ученый тон на игривый, одновременно серьезный и поверхностный, который почти всегда служит прелюдией любви. Замечали ли вы, что в беседе мужчины и женщины шутливая легкость тона нужна лишь для того, чтобы прикрыть нетерпеливость желания? Сознавая силу, которая толкает их друг к другу, и опасность, которая им угрожает, они словно пытаются защитить свой покой деланным безразличием разговора. Тогда каждое слово — намек, каждая фраза — разведка, каждый комплимент — ласка. Тогда речи и чувства текут двумя параллельными потоками, один над другим, и верхний поток, где струятся слова, — это лишь знаки, лишь символы потока глубинного, где мечутся смутные образы...

Пылкий юноша, жаждавший покорить Францию силой своего гения, опускался до разговоров о последних театральных премьерах, о романах, даже о нарядах и о погоде. Он описывал мне жабо из черного тюля или белые шляпки с бантами в стиле Людовика XV (это было время рукавов с буфами и шляп с высокими тульями).

— Старик Лефор был прав, — признавался он, — она не очень умна. Вернее, ее мысли вечно скользят по поверхности. Но что мне до того!

Разговаривая с ней, он смотрел на руку, которую схватил Жюльен Сорель, на талию, которую обнял Феликс де Ванденес. «Как, — спрашивал он себя, — можно перейти от этого церемонного тона, этой сдержанности к удивительной фамильярности, которую дарует любовь? С женщинами, что я знал доныне, первые шаги делались намеренно шутливо — их благосклонно принимали и даже провоцировали; остальное уже шло своим чередом. А тут я не могу вообразить даже самой мимолетной ласки. Жюльен? Но Жюльену помогали темные вечера в саду, чарующие ночи, совместная жизнь. А я даже не могу застать ее одну...»

Действительно, всегда были рядом дети, и Лекадье тщетно пытался поймать ободряющий или сочувственный взгляд г-жи Треливан. Она смотрела на него с совершенным спокойствием, бесстрастностью, исключавшей любую опрометчивую вольность.

Каждый раз, покинув особняк Треливанов, он бродил в раздумьях по набережным:

— Я трус... Ведь были у нее любовники... Она старше меня лет на двенадцать, не меньше: не может она быть неприступной... Конечно, ее муж человек выдающийся. Но разве женщины это ценят? Он пренебрегает ею, и она, верно, безумно скучает.

И он в бешенстве твердил: «Я трус... я жалкий трус».

Он бы меньше себя презирал, если бы знал, что таилось в сердце г-жи Треливан, все, что мне много лет спустя рассказала женщина, игравшая тогда в ее жизни ту же роль, что я при Лекадье. Так иногда случай через двадцать лет приносит вам недостающие сведения, которые бы страстно заинтересовали вас во время тех событий.

Тереза Треливан вышла замуж по любви. Мы знали, что она дочь заводчика, но заводчик тот был вольтерьянцем и республиканцем — тип буржуа, нынче почти исчезнувший, но весьма распространенный в последние годы Империи. Во время очередной предвыборной кампании Треливан нанес визит родителям Терезы и поразил юную девушку в самое сердце. Она решила стать его женой. Ей пришлось победить сопротивление семьи, с полным основанием твердившей о репутации Треливана — дамского угодника и азартного игрока. Отец сказал: «Это гуляка, который будет тебе изменять, который разорит тебя». Она ответила: «Я переделаю его».

Те, кто знал ее в ту пору, говорят, что красота, наивность, страсть к самопожертвованию делали ее необычайно привлекательной. Выходя замуж за молодого, но уже знаменитого депутата, она представляла себе вдохновенную жизнь четы подвижников. Вот она помогает мужу сочинять речи, переписывает их, аплодирует им — надежная опора в трудные дни, незаметная бесценная спутница в пору успеха. В общем, весь девичий пыл «сублимировался» в явную страсть к политике.

Их брак оправдал все предсказания. Треливан любил жену, покуда желал ее, то есть около трех месяцев. Потом он решительно перестал вспоминать о ее существовании. Человек ироничный, практичный, он не выносил излишнего энтузиазма, его больше раздражало, чем привлекало обременительное, быть может, рвение жены.

Наивность, нравящаяся мечтателям, бесит людей действия. Сперва ласково, потом вежливо, затем сухо отверг он помощь супруги. Первые беременности, необходимость соблюдать предосторожности дали ему прекрасный повод для отлучек. Он вернулся к любовницам, более подходящим ему по темпераменту. Когда жена начала жаловаться, он ей ответил, что она свободна.

Решив не разводиться — во-первых, из-за детей, во-вторых, потому, что гордилась именем, которое носила, наконец из-за того, что не хотелось признаваться родителям в своем поражении, она была вынуждена, как ни тяжело это было, привыкнуть путешествовать одной с детьми, переносить навязчивое сочувствие друзей, отвечать улыбкой на вопрос, почему нет ее мужа. Наконец после шести лет одиночества, устав от жизни, мучаясь смутной потребностью в ласке, томясь, несмотря на все разочарования, мечтой об идеальной чистой любви, главной отрадой ее девичества, она взяла в любовники коллегу и политического единомышленника Треливана — человека тщеславного и грубого, в свою очередь бросившего ее через несколько месяцев.

Эти два несчастливых опыта напрочь отвратили ее от мужчин. Она вздыхала и грустно улыбалась, когда при ней заговаривали о семейной жизни. Она была живой, остроумной девушкой, а стала вялой и молчаливой. Врачи нашли в ней покорную пациентку, безнадежно больную неврастенией. Она жила в вечном ожидании какого-нибудь несчастья или смерти. Она окончательно потеряла ту милую доверчивость, что придавала ей столько очарования в юности. Она считала, что не создана для любви и недостойна ее.

Пасхальные каникулы прервали занятия, предоставив Лекадье вдоволь времени для раздумий. И он решился. В первый учебный день, после урока, он попросил у г-жи Треливан позволения поговорить с ней наедине. Решив, что он хочет пожаловаться на одного из своих учеников, она провела его в малую гостиную. Следуя за ней, он был совершенно спокоен, как перед неизбежной дуэлью. Едва она притворила дверь, он признался, что не в силах более молчать, что он живет только теми мгновениями, когда видит ее, что облик ее все время стоит перед его глазами — в общем, вымученно и литературно объяснился в любви, после чего приблизился и попытался взять ее руку.

Со смущением и досадой она глядела на него, повторяя: «Но ведь это нелепо... Да замолчите же...» Наконец она сказала: «Это просто смешно, перестаньте, прошу вас, и немедленно уходите», — столь умоляющим и вместе с тем решительным тоном, что он почувствовал себя побежденным и пристыженным. Он удалился, пролепетав: «Я попрошу г-на Перро прислать вместо меня другого учителя».

В прихожей он остановился в растерянности, начал искать шляпу, так что слуга, услыхав, вышел из буфетной, чтобы проводить его.

И тут ситуация — изгнанный любовник уходит в сопровождении камердинера — внезапно напомнила моему товарищу только что прочитанную новеллу Бальзака, короткую, но превосходную — «Покинутая женщина».

Вы все, конечно, знаете ее? Ну да, вы же не бальзаковеды... Тогда я напомню, чтобы были понятны дальнейшие события, что в ней молодой сумасброд проникает под вымышленным предлогом к женщине и с места в карьер объясняется ей в любви.

Бросив на него гордый, презрительный взгляд, она звонком вызывает камердинера: «Жак — или Жан, — проводите этого господина». До сих пор все повторяет историю Лекадье.

Но у Бальзака юноша, проходя через прихожую, размышляет: «Если я уйду, то навсегда останусь глупцом в ее глазах, быть может, в эту минуту она сожалеет, что так резко отказала мне от дома; мое дело — угадать ее волю». Тогда он говорит камердинеру: «Я что-то забыл», поднимается, находит г-жу де Босеан в гостиной и становится ее любовником.

«Да, — подумал Лекадье, пытаясь попасть в рукав пальто, — в точности мой случай. Но я не только буду выглядеть глупцом, она вдобавок все расскажет мужу. Если же я сейчас вернусь к ней, то, напротив...»

И сказав камердинеру: «Я забыл перчатки», он почти бегом пересек прихожую и открыл дверь будуара.

Госпожа Треливан сидела в задумчивости у камина. Она удивленно, но нежно взглянула на него:

— Как? — сказала она. — Это опять вы? Я думала...

— Я сказал камердинеру, что забыл перчатки. Я умоляю, выслушайте меня, дайте мне хоть пять минут.

Она не протестовала, скорее всего за те мгновения раздумий, пока мой друг отсутствовал, она успела пожалеть о своем добродетельном порыве. Людям свойственно презирать то, что идет им в руки, и цепляться за то, что ускользает, и потому, наверное, с искренним негодованием выставив его, она захотела вновь его увидеть, едва он ушел.

Терезе Треливан было тридцать девять лет. Еще раз, скорее всего в последний, жизнь ее превратится в мучительное и сладостное смешение боли и радости, начнутся вновь свидания, тайные письма, бесконечные ревнивые подозрения. Ее возлюбленным будет юноша, бесспорно талантливый; быть может, с ним — человеком, который всем будет обязан ей, — воплотит она свою мечту о материнской заботе, которую так сухо отверг муж.

Любила ли она его? Не знаю, но склонен думать, что до того дня она видела в нем блестящего преподавателя и только — не из высокомерия, из скромности. Когда он приблизился к ней, произнеся длинную речь, которой она не слышала, она протянула ему руку и с невыразимой грацией отвела глаза. Этот жест, в духе героинь Лекадье, так очаровал его, что он с неподдельной страстью поцеловал ее руку.

Весь вечер он честно пытался утаить от меня свое счастье; скромность была неотъемлемой чертой образцового возлюбленного, образ которого он создал себе по романам. Он продержался обед и часть вечера; помню, мы тогда обсуждали первую книгу Анатоля Франса, и Лекадье остроумно разбирал ее особенности — то, что он называл «чересчур рассудительной поэзией». Около десяти он отвел меня подальше от наших товарищей и поведал все.

— Я не должен тебе это рассказывать, но я задохнусь, если не доверюсь хотя бы одному человеку. Я все поставил на карту, дружище, поставил хладнокровно и выиграл. Значит, правда, что с женщинами достаточно быть смелым и только. Мои представления о любви, почерпнутые из книг, смешили тебя — жизнь подтвердила их. Бальзак — великий человек.

Тут он начал пространное повествование, а в конце рассмеялся, обнял меня за плечи и заключил:

— Жизнь прекрасна, Рено.

— Сдается мне, — сказал я, высвобождаясь, — что ты слишком рано торжествуешь. Она простила твою смелость — вот что значит ее жест. Все трудности еще впереди.

— Ах, — произнес Лекадье, — ты не видел, как она на меня посмотрела... В тот миг она вдруг стала обворожительной. Да нет, дружище, нельзя ошибиться в чувствах женщины. Ведь я так долго чувствовал ее безразличие. Раз я тебе говорю: «Она меня любит», значит, я знаю.

Я слушал его с тем ироническим и почти смущенным удивлением, которое всегда вызывает чужая любовь. Между тем он был прав, считая партию выигранной: неделю спустя г-жа Треливан стала его любовницей. Он провел решающие операции с большим искусством, готовясь к каждому свиданию, заранее выверяя свои поступки и слова. Его успех ознаменовал победу почти научной любовной стратегии.

По расхожим представлениям обладание знаменует конец любви-страсти; случай с Лекадье, напротив, доказывает, что оно может стать ее началом. Ведь эта женщина подарила ему почти все, что с юных лет рисовалось ему картиной счастливой любви.

Некоторые его представления о любви всегда меня удивляли — мне они были абсолютно чужды. Ему было необходимо:

1. Чувствовать, что любовница в каком-то отношении выше его, приносит ему что-то в жертву: социальное положение, богатство.

2. Он желал, чтобы она была целомудренной и привносила в наслаждение сдержанность, которую бы ему, Лекадье, приходилось побеждать. Думаю, что тщеславие было в нем сильнее чувственности.

И Тереза Треливан почти в точности воплощала тот тип женщин, который он мне так часто описывал. Его восхищал ее дом, элегантная комната, где они встречались с помощью сообщницы-подруги, ее наряды и экипажи. Он испытал особенную радость, укрепившую его чувства, когда она призналась, как долго робела перед ним.

— Тебе это не кажется необыкновенным? — спрашивал он меня. — Думаешь, что тебя презирают, что ты для нее пустое место, находишь тысячу убедительнейших причин ее высокомерию. И вдруг, проникнув за кулисы, узнаешь, что она переживала все те же страхи. Помнишь, я говорил тебе: «Уже три урока она не приходит, я наверняка ей наскучил». А она тогда думала (она мне призналась): «Мое присутствие раздражает его, я лучше пропущу урока три». Полностью проникнуть в душу человека, который казался тебе враждебным, — в этом, дружище, и заключается для меня главное наслаждение любви. Наступает полный покой, сладостное отдохновение самолюбия. Мне кажется, Рено, что я влюбляюсь в нее.

Я, человек по натуре сдержанный, не забыл наш разговор со стариной Лефором.

— Но умна ли она? — спросил я.

— Умна? — взвился он. — Ум — понятие растяжимое. Разве мало в Школе математиков (Лефевр, к примеру), которых специалисты считают гениями, а мы с тобой — дураками. Если я начну объяснять Терезе философию Спинозы (а я пробовал), конечно, ей скоро станет скучно, как бы внимательно и терпеливо она ни слушала. И напротив, во многих вопросах она удивляет и превосходит меня. Она знает истинную жизнь определенных слоев французского общества конца нынешнего, XIX века лучше, чем ты, и я, и Ренан. Я могу часами слушать ее рассказы о политических деятелях, о свете, о влиянии женщин.

Все последующие месяцы, когда эти темы всплывали в разговоре, г-жа Треливан с бесконечной предупредительностью старалась удовлетворить любопытство моего друга. Лекадье стоило только сказать: «Хотелось бы мне как-нибудь увидеть Жюля Ферри. Констан, должно быть, прелюбопытный человек... А вы знакомы с Морисом Барресом?» — как она обещала устроить встречу. Она стала ценить бесчисленные знакомства Треливана, которые раньше тяготили и раздражали ее. Она с наслаждением использовала ради своего юного возлюбленного влияние мужа.

— Но что же Треливан? — изредка спрашивал я Лекадье, когда он рассказывал мне об этих вечерах. — Не может ведь он не замечать, каково твое положение в доме?

Лекадье впадал в задумчивость.

— Да, — говорил он, — это довольно странно.

— Скажем, вы встречаетесь иногда у нее?

— Почти нет, — из-за детей, из-за прислуги, но что до Треливана, то его никогда не бывает дома между тремя и семью. Что удивительно, она двадцать раз просила у него пропуска, приглашения в Палату депутатов, в Сенат, и он всегда вежливо, даже любезно давал их, не прося никаких объяснений. Когда я обедаю у них, он обращается со мной с подчеркнутым уважением. Он представляет меня: «Юный студент Нормальной школы, очень талантлив...» Мне кажется, что он проникся ко мне расположением.

Из-за этой новой жизни Лекадье совсем забросил учебу. Наш директор, завороженный могущественным именем Треливана, перестал следить за его отлучками, но преподаватели жаловались. Он был слишком способным, чтобы завалить конкурсные экзамены, но он сдавал позиции. Я говорил ему об этом, он только смеялся. Штудировать тридцать — сорок трудных авторов казалось ему теперь занятием бессмысленным, недостойным его.

— Конкурс на должность преподавателя лицея, — говорил он, — ну выдержу я его, раз уж взялся, но что за скучища! Неужто тебе интересно смотреть на нити, заставляющие двигаться старых университетских марионеток? Меня это немного забавляет — я вообще люблю перебирать нити, но все же, глупость против глупости, лучше подвизаться в другом балагане, где зрителей побольше. В этом мире, таков как он есть, могущество обратно пропорционально затраченным усилиям. Самую счастливую жизнь современное общество дарует самому бесполезному. Хороший оратор, остроумный человек завоюет салоны, женщин и даже любовь народа. Помнишь слова Лабрюйера: «Знатность ставит человека в выгодное положение, она позволяет выиграть тридцать лет». Сегодня быть знатным значит быть в милости у нескольких людей: министров, лидеров партий, высших чиновников, более могущественных, чем в свое время Людовик XIV или Наполеон.

— Так что же? Ты ударишься в политику?

— Зачем? Я не строю никаких определенных планов. Я начеку, я ухвачусь за первую же возможность. Есть тысячи путей вне политики, столь же «чудодейственных», но безопасных. Политик обязан снискать расположение народа — дело тяжелое и темное. Я хочу снискать расположение политиков — это намного легче, да и приятней. Многие из них образованные люди: Треливан рассуждает об Аристофане интересней, чем наши преподаватели, и с тем знанием жизни, которого они лишены. Ты даже представить не можешь его откровенный цинизм, его великолепное бесстыдство.

После этого мои хвалы месту провинциального учителя, четырем часам нагрузки, свободному времени для размышлений должны были казаться ему просто жалкими.

Тогда же я узнал от одного из наших соучеников, чей отец бывал у Треливанов, что Лекадье нравился там отнюдь не всем. Он не умел скрывать, что чувствовал себя равным великим мира сего. Его макиавеллизм бил в глаза. Странное впечатление производил этот юноша, не отходивший от хозяйки дома, слишком грузный для своих лет, строивший из себя Дантона. Чувствовалось, что он одновременно робеет и злится из-за этого, что он силен, но слишком высокого мнения о своей силе. «Что это за Калибан, говорящий как Просперо?» — спросил как-то Леметр.

Другой неприятной стороной всех этих событий было то, что теперь Лекадье постоянно нуждался в деньгах. Одежда многое решала на его новом поприще, и этот могучий ум доходил в сем пункте до ребячества. Однажды он мне три вечера подряд рассказывал о белом двубортном жилете, в котором щеголял юный начальник канцелярии. На улице он останавливался перед обувными магазинами и подолгу изучал фасоны. Потом, заметив мое неодобрительное молчание:

— Давай, выкладывай, — говорил он. — У меня достанет аргументов на все твои возражения.

Комнаты учеников в Нормальной школе напоминают ложи, разделенные занавесями и расположенные вдоль коридора. Моя была справа от Лекадье, слева спал Андре Клейн, ныне депутат от Ланд.

За несколько недель до конкурсного экзамена я проснулся от непонятного шума и, сев на постели, явственно услышал рыдания. Я поднялся, а в коридоре Клейн, вскочив как по тревоге, уже подслушивал перед комнатой Лекадье, прильнув ухом к занавеси. Оттуда-то и доносились стенания.

Я не видел моего друга с самого утра, но мы так привыкли к его отлучкам, что столь долгое отсутствие никого не беспокоило.

Клейн кивнул на занавесь, советуясь со мной, и распахнул ее. Лекадье, зареванный, распластался в одежде на постели. Вспомните, что я рассказывал о силе его характера, о нашем преклонении перед ним, и вы поймете наше удивление.

— Что с тобой? — спросил я. — Лекадье! Ответь... Что с тобой?

— Оставь меня в покое... Я уезжаю.

— Уезжаешь? Что за бредни?

— Это не бредни, я должен уехать.

— Ты с ума сошел? Тебя исключили?

— Нет... Я обещал уехать.

Он покачал головой и вновь рухнул на постель.

— Не смеши людей, Лекадье, — произнес Клейн.

Тот резко приподнялся.

— Ну ладно, — сказал я, — что там у тебя стряслось? Клейн, уйди, а?

Мы остались одни. Лекадье уже взял себя в руки. Он встал, подошел к зеркалу, пригладил волосы, поправил галстук и сел опять напротив меня.

И тогда, увидев его вблизи, я поразился, как сильно исказились черты лица. Глаза его казались потухшими. Я почувствовал, что в этом прекрасном механизме сломалась какая-то важная деталь.

— Госпожа Треливан? — спросил я.

Я испугался, что она умерла.

— Да, — вздохнул он. — Не нервничай, я тебе все объясню. Итак, сегодня, после урока, Треливан через камердинера попросил меня зайти к нему в кабинет. Он работал. Он вежливо поздоровался, дописал абзац и без лишних слов протянул мне два моих письма (я по глупости писал не только чувствительные письма, но и чересчур откровенные, в которых оправдаться никак не мог). Я что-то пролепетал, наверняка какие-то бессвязные фразы. Я не был к этому готов, я жил, как ты знаешь, с ощущением полной безопасности. Он-то был совершенно спокоен, а я чувствовал себя подсудимым.

Когда я замолчал, он стряхнул пепел с сигареты (о, эта пауза, Рено... несмотря ни на что, я восхитился им — он великий актер) и начал говорить о «нашем» положении — с удивительной беспристрастностью, хладнокровием, ясностью суждений. Мне трудно даже пересказать его речь. Все казалось таким убедительным, очевидным. Он говорил мне: «Вы любите мою жену, вы пишете ей об этом. И она вас любит — искренне и глубоко, как мне кажется. Вы знаете, разумеется, чем была наша супружеская жизнь? Я не виню ни вас, ни ее. Напротив, у меня сейчас тоже есть причины желать свободы, я не собираюсь препятствовать вашему счастью Дети? У нас, как вы знаете, только мальчики, я помещу их интернами в лицей. Каникулы? Можно все уладить вежливо, по-хорошему. Ребята нисколько не будут страдать, напротив. Средства к существованию? У Терезы есть небольшое состояние, вы будете зарабатывать на жизнь... Я вижу только одно препятствие, или, вернее, затруднение: я государственный деятель, и мой развод наделает шуму. Чтобы свести скандал к минимуму, мне нужна ваша помощь. Я предлагаю вам честный, почетный выход. Мне не хочется, чтобы жена, оставшись в Париже во время процесса, невольно давала пищу сплетникам. Я прошу вас уехать и увезти ее. Я предупрежу вашего директора, найду вам должность преподавателя в провинциальном коллеже. — Но я еще не прошел конкурсный экзамен, — возразил я. — Ну и что? Это не обязательно. Не беспокойтесь, я пользуюсь достаточным влиянием в министерстве, чтобы назначить преподавателя в шестой класс. Кроме того, ничто не мешает вам продолжать готовиться к конкурсу и пройти его в следующем году. Тогда я смогу найти вам место получше. Только не думайте, что я собираюсь вас преследовать... Напротив, вы попали в тяжелое, затруднительное положение, я знаю это, друг мой, я сочувствую вам, я помню о вас, я пекусь о ваших интересах как о своих; если вы примете мои условия, я помогу вам выкарабкаться... Если вы откажетесь, я буду вынужден действовать законным путем».

— Что это значит, законным путем? Что он может тебе сделать?

— О! Все... возбудить процесс о супружеской измене.

— Что за глупость! Шестнадцать франков штрафа? Он выставит себя на посмешище.

— Да, но такой человек, как он, может погубить всякую карьеру. Сопротивляться было бы безумием, тогда как уступить... кто знает?

— И ты согласился?

— Через неделю я уезжаю вместе с ней в коллеж в Люксей.

— А что она?

— Ах, — произнес Лекадье, — она была великолепна. Я провел у нее весь вечер. Я спросил ее: «Вас не пугает провинциальная жизнь, пошлость, скука?» Она ответила: «Я уезжаю с вами; я слышала только это».

Тогда я понял, почему Лекадье так легко уступил: его пьянила возможность открыто жить со своей любовницей.

В то время я был, как и он, слишком молод, и эта театральная развязка показалась столь драматичной, что я примирился с ее фатальной неизбежностью, даже не пытаясь спорить. Позднее, лучше узнав людей, я поразмыслил над этими событиями и понял, что Треливан ловко воспользовался неопытностью мальчишки, чтобы с наименьшим ущербом устроить собственные дела. Он давно мечтал избавиться от постылой жены. Впоследствии выяснилось, что он уже тогда решил жениться на м-ль Марсе. Он знал о первом любовнике, но не решился пойти на скандал, который из-за необходимости поддерживать с коллегой деловые отношения мог бы сильно усложнить политическую жизнь. Государственная деятельность научила его смирять себя, и он стал подкарауливать благоприятную возможность. Лучшей нельзя было и желать: подросток подавлен его авторитетом, жена надолго удаляется из Парижа, если решит последовать за любовником (а это было весьма вероятно, поскольку он молод, и она его любила). Общественное волнение успокаивается из-за исчезновения главных действующих лиц. Он увидел, что дело верное, и выиграл его без труда.

Через две недели Лекадье исчез из нашей жизни. От него изредка приходили письма, но на конкурсный экзамен он не явился ни в этом, ни в следующем году. Волны, поднятые этим падением, разошлись, улеглись. Пригласительный билет уведомил меня о его свадьбе с г-жой Треливан. От приятелей я узнал, что конкурс он выдержал, от генерального инспектора — что он назначен в лицей в Б., весьма престижное место, «благодаря своим связям». Потом я покинул институт и забыл Лекадье.

В прошлом году, попав проездом в Б., я зашел из любопытства в лицей, расположенный в старинном аббатстве, одном из красивейших во Франции, и осведомился у привратника о Лекадье. Привратник, человек суетливый и напыщенный, вынужденный вести табели опоздавших и оставленных после уроков, пропитался атмосферой науки и стал изрядным педантом.

— Господин Лекадье? — переспросил он. — Г-н Лекадье вот уже двадцать лет как принадлежит к числу преподавателей лицея, и все мы надеемся, что он останется здесь до пенсии. Впрочем, если вы желаете его видеть, вы можете пройти через парадный двор и спуститься по левой лестнице во двор для младших классов. Скорее всего он там — беседует с надзирательницей.

— Как? Разве лицей не закрыт на каникулы?

— Разумеется, но мадемуазель Септим взялась присматривать днем за детьми, чьи семьи живут в нашем городе. Г-н директор дал свое согласие, и г-н Лекадье приходит составить ей компанию.

— Ну и ну! Но ведь Лекадье женат, не так ли?

— Он был женат, сударь, — трагическим тоном произнес привратник, и в голосе его прозвучал упрек. — Г-жу Лекадье схоронили в прошлом году, перед днем Карла Великого.

«А и вправду, — подумал я, — ей уже, наверное, было около семидесяти... Странная, должно быть, жизнь была у этой пары».

Я решил уточнить:

— Ведь она намного старше его, не так ли?

— Сударь, — ответил он, — это самое удивительное, что я только видел в лицее. Г-жа Лекадье постарела в один миг. Когда они приехали сюда, это была, я не преувеличиваю, юная девушка... белокурая, румяная, хорошо одетая... и гордая. Вы, верно, знаете, кто она такая?

— Да, да, знаю.

— Ну, естественно. Когда жена премьер-министра оказывается в провинциальном лицее, то, сами понимаете... Мы вначале смущались ее. Живем мы здесь дружно. Г-н директор все время повторяет: «Я хочу, чтобы мой лицей был одной большой семьей». Зайдя в класс, он обязательно спросит у учителя: «Господин Лекадье (или г-н Небу, или г-н Лекаплен), как поживает ваша женушка?» Но поначалу, как я вам сказал, она ни с кем не хотела знаться, никому не наносила визиты — даже ответные. Многие злились на мужа, и это понятно. К счастью, г-н Лекадье весьма галантен и все трудности улаживал с нашими дамами. Он умеет нравиться. Теперь, когда он читает в городе лекцию, собирается вся аристократия, приходят нотариусы, промышленники, префект, все-все... Постепенно все уладилось. Да и супруга его переменилась; последние годы г-жа Лекадье была так проста, общительна, так любезна. Но она стала старой, совсем старой.

— Правда? — сказал я. — С вашего позволения я пойду его поищу.

Я пересек парадный двор. Это был старинный монастырь XV века, немного изуродованный обилием окон, в которых виднелись рассохшиеся лавки и столы. Слева горбатая крытая лестница вела вниз, во двор поменьше, окруженный чахлыми деревьями. У подножия ее стояли двое: мужчина, спиной ко мне, и женщина с костлявым лицом и жирными волосами, чью клетчатую фланелевую блузку вздымал старомодный корсет. Эта пара, по-видимому, вела оживленную беседу. Сводчатый спуск, как слуховая труба, донес голос, заставивший меня необыкновенно ясно вспомнить лестничную площадку дортуара Нормальной школы. И я услышал:

— Да, Корнель величественный, но Расин нежнее, тоньше. Лабрюйер очень верно сказал, что один рисует людей такими, как они есть, другой же...

Так странно и так горько было мне слышать подобные пошлости, обращенные к подобной собеседнице, считать, что произносит их человек, которому я поверял свои первые думы и который в юности так сильно на меня повлиял, — что я стремительно шагнул под своды, дабы лучше рассмотреть говорившего, с тайной надеждой, что ошибся. Он обернулся, и я с удивлением увидел седеющую бороду, лысый череп. Но это был Лекадье. Он меня тоже тотчас узнал, и на лице его промелькнула тень досады и даже боли, быстро сменившаяся ласковой улыбкой, чуть-чуть смущенной и неловкой.

Взволнованный, я не хотел вспоминать прошлое при этой угрюмой надзирательнице и быстро пригласил друга вместе пообедать. Он назвал ресторан, где мы и договорились встретиться в полдень.

Перед лицеем в Б. есть маленькая площадь, усаженная каштанами; я просидел там довольно долго. «От чего зависит, — спрашивал я себя, — успешно или неудачно сложится жизнь? Вот Лекадье, рожденный быть великим человеком, год из года переводит все те же отрывки с очередными поколениями школьников из Турени и проводит каникулы, педантично ухаживая за нелепой уродиной, тогда как Клейн, человек умный, но все же не гениальный, осуществляет юношеские мечты Лекадье Почему все так? Надо, — подумал я, — попросить Клейна перевести Лекадье в Париж».

По дороге к Сент-Этьен де Б., красивой церкви в романском стиле, которую мне хотелось вновь увидеть, я пытался понять причины такой деградации. Сразу Лекадье измениться не мог. Это был тот же человек, тот же ум. Что же произошло? Треливан, должно быть, безжалостно держал их в провинции. Он выполнил свои обещания, обеспечил быстрое продвижение по службе, но закрыл им дорогу в Париж. На некоторых провинция действует исключительно благотворно. Я сам нашел в ней свое счастье. Когда-то давно в Руане меня учили преподаватели, которым провинциальная жизнь подарила удивительную ясность ума, безупречный вкус, избавленный от модных заблуждений. Но таким, как Лекадье, нужен Париж. В изгнании желание первенствовать заставило его довольствоваться мнимыми успехами. Остаться умным человеком в Б. — страшное испытание для человеческой натуры. Заняться политикой? Очень трудно, если ты не местный уроженец. В любом случае это дело долгое; здесь действуют наследственные права, выслуга лет, особая иерархия. А при его характере, он, наверное, быстро пал духом. И потом, если человек один, он может бежать, работать, а у Лекадье была жена на руках. После первых месяцев счастья она, должно быть, пожалела о своей светской жизни. Она понемногу стала сдавать... Потом постарела... Он мужчина темпераментный. Юные девушки, уроки литературы... Г-жа Треливан начала ревновать. Жизнь превратилась в череду глупых изнурительных сцен... Потом болезнь, желание забыться, да к тому же привыкание, поразительная приспосабливаемость честолюбия, счастье удовлетворенного тщеславия, которое показалось бы смешным в двадцать лет (муниципальный совет, ухаживание за надзирательницей). И все-таки мой Лекадье, юный гений, не мог исчезнуть совершенно: должны же были остаться в нем следы былых задатков; вероятно, они погребены, но до них можно докопаться, высвободить их...

Когда я, осмотрев собор, вошел в ресторан, Лекадье уже был там и вел с хозяйкой, низенькой толстухой в черных завитушках, шутливую ученую беседу, от которой мне сразу стало тошно. Я поспешил увлечь его за стол.

Знаете, как беспокойно болтливы люди, боящиеся неприятного разговора? Едва только беседа приближается к «запретным» темам, наигранное оживление выдает их тревогу. Их фразы снуют, как пустые поезда, которые командование пускает на опасных участках фронта, чтобы предотвратить возможное наступление противника. Весь обед мой Лекадье, упиваясь собственным красноречием — легковесным, водянистым, банальным до абсурда, — болтал без умолку: о городе Б., о своем коллеже, о погоде, о муниципальных выборах, об интригах преподавательниц.

— Есть тут, старина, в десятом приготовительном одна учительница...

Ну, а меня интересовало только одно — как угасло это великое честолюбие, как сломалась эта железная воля, какой была его внутренняя жизнь с того дня, как он покинул Школу. Но всякий раз, как я подводил его к этим темам, он начинал темнить, извергая потоки пустых, путаных слов. Я вновь увидел эти «потухшие» глаза, поразившие меня в тот вечер, когда Треливан раскрыл его интрижку.

Когда подали сыр, я, разозлившись, отбросил все приличия и, глядя на него в упор, грубо спросил: «Что за игру ты затеял, Лекадье? Ведь ты был умен. Почему ты изъясняешься как сборник избранных мест? Почему ты боишься меня? И себя?»

Он чуть покраснел. Огонь страсти, быть может, гнева вспыхнул в его глазах, и на несколько мгновений я обрел моего Лекадье, моего Жюльена Сореля, моего юного Растиньяка. Но тут же привычная маска опустилась на широкое бородатое лицо, и он произнес с улыбкой:

— Что? Умен? Что ты хочешь этим сказать? Ты всегда был странным.

Потом он заговорил о директоре коллежа; Бальзак прикончил своего почитателя.